

Секацкий А. К.

**МЕТАФИЗИКА ПЕТЕРБУРГА
(ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СЕМИНАРЕ «РУССКАЯ МЫСЛЬ»
В РУССКОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ
АКАДЕМИИ, 20 МАЯ 2022 Г.)**

Говоря о метафизике Петербурга, нельзя избежать некоторого круга банальностей, и тем более — говоря о знаменитой оппозиции «Москва-Петербург», которая является чем-то вроде обязательной программы для философских самопрезентаций русских мыслителей. Но, как справедливо заметил один наш афорист, нет столь избитой истины, которую нельзя было бы избить еще раз. Что мы и попробуем сделать.

Парадокс, с которого стоило бы начать, состоит в следующем. Когда мы рассматриваем метафизику большого города, скажем, мегаполиса, то в какой-то момент мы вдруг понимаем, что, вообще говоря, вся классическая европейская метафизика, а, стало быть, имеющаяся в нашем распоряжении философия, — по сути своей *сельская*. По крайней мере, до Хайдеггера включительно, это безусловно. И потому перед нами все время открываются какие-то *дали* — то воображаемый уединенный домик воображаемого философа, то Holzwege, лесные тропки в Шварцвальде, воспетые Мартином Хайдеггером, то Вальдцель, если иметь в виду «Игру в бисер» Германа Гессе. Мы в любом случае имеем дело не с городской средой, хотя она вроде бы должна быть более органичной для преподавателя, а с пресловутыми *просторами*, как говорит нам Хайдеггер — «с немотствующим зовом земли» и стоптанными деревенскими башмаками. И они незримо оказывают влияние на сам строй метафизики. Это влияние не слишком отслежено, но оно очевидно, поскольку характерно и для самого Dasein в его не просто брошенности, а в некотором особом уединении и отъединенности от Das Man бытия, которое, конечно же, в любых городских условиях окажется на первом месте. Сейчас это не является нашей задачей, но тем не менее: обличение метафизики как буржуазной нам известно, а вот ее обличение как *сугубо сельской* на самом деле достойно определенного продумывания. И в каком-то плане мы можем сказать, что попытка внести городские

реалии в понимание метафизики города, наверное, вообще начинается, скорее всего, с Бенямина, с его знаменитых парижских фланеров, которые и есть как бы ходячие самописцы городского самочувствия и источники некоторого непрерывного метафизического репортажа. Потому что когда мы все-таки говорим о метафизике города, мы понимаем, что это нечто, противостоящее прагматизму, противостоящее простой утилитарности. В любом случае это люди, которые, если и «заныривают» в толпу и в поток, то все равно у них остается какая-то часть свободного и ни на что больше непригодного времени для того, чтобы просто бродить и слоняться. И лишь в этих условиях возможно некоторое метафизическое попадание.

Современная французская философия, нужно отдать ей должное, попыталась описать контуры городской метафизики. Пожалуй, мы можем вспомнить в первую очередь Ги Дебора и Бодрийяра, которые ввели в понимание самой сути метафизической мысли такие вещи как граффити, бытие-поперек, паркур. И этот ход, который принципиально важен, поскольку предполагает, что мы имеем дело не только с душой города, а и с его телом. Лишь такая нерасторжимая связь тела города и его души, если она ухвачена, позволяет выстроить собственную метафизику города. С учетом важнейших параметров телесной воплощенности — она не менее очевидна, чем в случае нашей телесной воплощенности и наших физических тел. Это принципиально важно для Петербурга — тело этого города проблематичнее, чем его душа, а для полноты мерности важна также и *тень города*, ибо необходимо, чтобы некоторые его элементы вышли из состояния *поэзиса*, т. е., вообще говоря, производства под человеческим присмотром, и перешли в состояние генезиса, т. е. некой самовоспроизводящейся реальности. Ведь как раз этим природа-фюзис отличается от изделий, от того, что делает мастер...

Бодрийяр, пожалуй, первым обратил внимание на важность элементов генезиса, в соответствии с которым настоящая городская среда выходит из-под контроля разумности, из-под пристального взгляда всех городских архитекторов, инженеров, авторов мемориальных пометок, и образует ту самую вторую природу как высшую награду за присмотр и заботливость. Ведь и человеческая природа, как минимум вторая, а то и третья, и четвертая — все они возникают в результате своеобразной амортизации, обкатки того или иного символического порядка. И вот эта вторая природа предполагает, что вместо всевозможных клумбочек, вместо разного рода декоративных элементов одомашненной и подстриженной природы, мы должны обязательно наткнуться на какие-то заброшенные руины, где неизвестно кто живет, возможно — привидение, если на этот счет есть соответствующий миф. Мы должны наткнуться на сквоты, на истоптанные клумбы с безжалостно выдранными цветами и на какие-нибудь ржавые педали, которые и будут частью настоящей новой природы, и именно в этом качестве и будут восприниматься. И это будет означать, что тело города обрело реальное существование, и какое-то количество замечательных городских бездельников тем самым оказывается пристроенным.

Именно такого рода подлинность и образует, вообще говоря, тот первичный материал, над которым следовало бы рефлексировать, если мы пытаемся

рассмотреть метафизику города в отличие от «сельской» метафизики, каковой, кстати, является метафизика изгнания, одиночества, где выдержана чистота рассмотрения феноменов, где эйдосы хорошо отличимы друг от друга и от своих собственных копий. Но, понятно, что никакой город нам этого не предоставит, если он и вправду обладает своей метафизикой, каковой, бесспорно, обладает Петербург.

Но вот маленькая цитата из работы Бодрийяра «Символический обмен и смерть»: «В этом состоит настоящая сила символического ритуала, и в этом смысле граффити идет наперекор всем рекламно-медиа-тическим знакам, которые заполняют стены наших городов и могут создать обманчивое впечатление таких же заклинаний. Рекламу соотносили с праздником: без нее городская среда была бы унылой. Но на самом деле она представляет собой лишь холодную оживленность, симулякр призывности и теплоты, она никому не подает знака, не может быть подхвачена автономным или коллективным прочтением, не создает символической сети» (Бодрийяр Ж. *Символический обмен и смерть*. М., 2000. С. 159)

Так писал тогда Бодрийяр; сейчас мы добавили бы, что реклама — это типичное загрязнение окружающей среды, осквернение природы города, что она перекрывает самопрезентацию города в единстве его тела и души. И тут граффити действительно выступает как своеобразный антисептик, предотвращающий последствия интоксикаций. Уличные художники-граффитисты перечеркивают как могут очаги рекламных вирусов, отводя глаза горожан от источников этой визуальной интоксикации.

Эти странные для мыслителя действия далеки, конечно, от созерцания стоптанных крестьянских башмаков, они все же необходимы в городском регистре мысли. Они в какой-то момент и были включены в повестку дня философии, прежде всего, наверное, все-таки философии французского постмодерна. И тут лучшим образцом метафизики города, я думаю, является «Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения» Делеза и Гваттари, книга, удивительным образом повлиявшая на современность. Это впечатляющая картина «городской метафизики» с гудящими машинами желającego производства, с шизопролетариатом, заполняющим улицы городов. Нам ли этого не знать, если мы живем в крупнейшем шизополисе мира? Мы, конечно, прекрасно себе все это представляем.

Но представлять недостаточно, и мы в общем-то так и не научились мыслить, мы так и не выбрали подходящий инструментарий, которой позволил бы нам хотя бы репрезентировать эту метафизику. А тем временем произошли некоторые события, которые, я думаю, привели к тому, что яркий феномен городской метафизики начал потихонечку уходить в тень, не успев раскрыться, как мир, который не явил себя по-настоящему, вопреки Шпенглеру, предполагавшему полный цикл культурного развития, сначала по восходящей ветви, а затем и по нисходящей, вплоть до иллюминации-к-смерти. Шпенглер все же полагал, что, по крайней мере, бутончик перед смертью распускается в цветок, и тем самым иллюстрировал неизбежность перехода культуры в цивилизацию. Но, похоже, бутончик завял, не успев распуститься, в силу ряда вещей.

Во-первых, в это же время произошла определенная экзистенциальная революция, связанная с появлением сетевых пространств и электронных пастбищ, которые действительно привели к эффекту мировой деревни. Стремительное падение событийной плотности городской среды — вот чему мы являемся свидетелями последние два десятилетия. Всем, деловито гуляющим на электронных пастбищах, незачем наткаться на городские углы, современному городу не нужна избыточная телесность. И идея мировой деревни, реализовавшаяся, правда, отнюдь не в буквальном смысле, приостановила все гравитации бытия-в-городе. Возможно, это пауза. Возможно, что все-таки метафизика города будет продумана и некая реанимация тела города произойдет.

Но случился почти сразу же и второй удар, которому мы все стали свидетелями. Он только пару месяцев назад стал неактуален из-за других событий, но мы все его помним. Это двухлетний всемирный карантин, или локдаун, который привел к тому, что городская среда вновь обезлюдела, а главное, конечно же, в том, что самые радикальные граффитисты, паркурщики, те, кто должен был поддерживать честь городской метафизики, позорным образом попрятались в свои норки и сидели там, не пикнув. Выяснилось, что настоящих рыцарей метафизики-то и нет. В сельской метафизике они нашлись — один Хайдеггер чего стоил, а вот в городской не нашлись. И когда мы говорим о том, что представители традиционных религий согласились проводить мессы в масках — ну ладно, за тысячелетнюю свою историю каких только испытаний у них не было. Но то, что актуальное искусство так позорно попряталось в норки по первому же сигналу воздушно-капельной тревоги, этого, конечно, никто не простит. Такое малодушие означало лишь то, что феномен городской метафизики вновь оказался не явлен, вместо него, можно сказать, воссияло другое неожиданное и удивительное явление.

Мы помним этот замечательный проект, который мне кажется до сих пор недооцененным, когда сидящие в своих норках люди обратились вдруг к творениям старых мастеров — не только пересматривали фильмы, вышедшие в те еще времена, но и удивительным образом повторяли картины, живописные полотна, они их как бы инсценировали. Проект назывался «Изо-изоляция», он пошел из России и довольно быстро прошелся по Европе. И в нем звучал приговор, что вот те мастера, которые создавали эти работы, и в том числе во время чумы в эпоху Возрождения, они все-таки не боялись, и они воплотили тот реальный полномасштабный мир. А поскольку наши, так сказать, вожди уличных театров и прочие граффитисты не нашли в своей душе такого мужества, а согласились со всеобщей дисциплиной карантинных, то в общем-то ничем они не лучше нас, и потратить высвободившееся в таких количествах время лучше на бессмертные работы старых мастеров. То есть выяснилось, или в какой-то момент возникло предчувствие, что люки нашего звездолета оказались уже задраены, и старые мастера туда вошли, и прежние метафизики, а новые не преодолели этого барьера, не прошли испытаний. Может, дело в том, что не решились на большую ставку, как подобает художнику, а предпочли играть по мелочам.

Тем не менее метафизика Петербурга не претерпела никакого ущерба — хотя бы потому, что эйдос нашего города обладает уникальной «чувственно-

сверхчувственной» очевидностью и, конечно, «срабатывает» и сказывается далеко за пределами воплощенности города, собственно городской телесности. Существенная причастность к Петербургу производит свою интоксикацию, «сладкую отраву», которая распространяется на все виды духовного производства. И если город обладает, помимо тела, еще и душой и собственным мифом, а также и собственной тенью, то это метафизическое присутствие неизбежно окрашивает и психологию *живущих здесь*, запускает работающие трансперсональные матрицы самочувствия и *иночужества*, или Мегамашины, как называет их Льюис Мамфорд, определяет способ самоощущения в мире и, само собой понятно, духовное производство, создание текстов и других объективаций.

И вот мы подходим к этой особенности или специфике нашего города, то есть к факту предельной метафизической выраженности *бытия здесь*, и чувствуем — я, по крайней мере, точно чувствую — что предложить какой-нибудь прасимвол в духе Шпенглера, что-то вроде пластичного образа античного космоса или пресловутой пещеры для ближневосточных цивилизаций, для Петербурга как-то не очень получается, хотя претендентов на символы много. Мы, наверное, на них остановимся кратенько, но суть понятна — и тут ничего нового не придумаешь и не добавишь — сутью является самая радикальная на свете умышленность, контр-природность и как бы невероятное противодействие воле самих стихий.

Мы и вправду не найдем в мире такого города, который был бы построен *настолько вопреки* всему, что можно определить как рациональность. Согласно апокрифу, Петр призвал специалистов-градостроителей и инженеров из Дании, Ганзы и Нидерландов, чтобы они, посоветовавшись, ответили на один вопрос: возможна ли столица на сем месте. И они, порассуждав некоторое время, высказали вердикт: нет, государь, никоим образом. Посудите сами, если бы здесь посреди болот возможно было что-то вроде столицы или просто большого поселения, то давным-давно уже все бы это было. Это сделали бы шведы, немцы или те же датчане. Но никто не предпринял никаких соответствующих усилий, ибо никоим образом сие невозможно. На что Петр, согласно апокрифу, сказал: пошли вон, и в тот же день подписал указ об основании Петербурга.

Эта отчасти легендарная история невероятно точно вписана в саму суть города, потому что его бытие вопреки волнам, наводнениям и болотам, вопреки всем пророчествам, что граду сему быть пусту, было воплощено и с невероятной настойчивостью реализовано. И дальнейшая история Петербурга удивительным образом демонстрирует нам странную вымышленность, похожую на окаменевший бред, на воплощенную в камне галлюцинацию, каковой является сама петербургская архитектура и главная городская традиция... Ну, понятно, какая: ориентация не на комфорт горожан в смысле ныне живущих поколений, интересы которых учитывались едва ли не в последнюю очередь — и до сих пор это не изменилось, а именно некоторая адресованность другим стихиям: Неве, морю, небу, потомкам, призракам, которые с самого начала стали активно заселять Петербург.

Живущие в коммуналках и сейчас довольствуются изначальной расстановкой акцентов: прежде всего — лицевая сторона, достойный фасад, посто-

янно обновляемый, более-менее поддерживаемый. В противовес — все эти удивительные внутренние дворики, не предназначенные для рассматривания, а предназначенные для тихого приватного проживания. Это такой вечный петербургский атриум, который никогда не будет введен в состав публикума, никогда не будет предъявлен, потому что это стыдно, неприлично и никому не нужно. В этом наш город точь-в-точь как знаменитый Портос из «Трех мушкетеров», который нашел денег только на одну внешнюю сторону перевязи, а что там сзади, под плащом — не ваше дело. И таким наш Петербург был всегда. И сама его идея, которая со множеством нюансов была воплощена, действительно позволяет нам говорить о том, что Петербург в своей метафизической ипостаси и в своей телесности и вправду больше всего напоминает внезапно окаменевшую галлюцинацию. Тут мы вполне можем сослаться на Вольфганга Гигериха, на его книгу «Невроз как метафизическая болезнь», где невроз рассматривается не как результат неудачного вытеснения, а как некая идея фикс, возникшая буквально на ровном месте и удерживающая в своем силовом поле огромный фрагмент поведения — или как своеобразный опус, по разным причинам не включаемый в состав опусов искусства. (*Giegerich W. Neurosis. The Logic of a Metaphysical Illness. New Orleans 2013*).

Невроз есть прежде всего то, что мы бы назвали *страстью к геометрии*, в противоположность неким более живым и воплощенным в теле страстям. И мы не должны недооценивать страсть к геометрии, к определенному нерушимому порядку, к некоей маниакальной последовательности символов, потому что ясно, что она в мир принесла несравненно больше бед, чем все проявления садизма. Потому что каким бы ты маркизом де Садам ни был, тебе не удастся пожать такую кровавую жатву плоти, как если ты будешь просто приверженцем порядка и страсти к геометрии. Поэтому понятно, что все садисты отдыхают по сравнению с иными рыцарями идеи фикс, которая, на первый взгляд, может выглядеть как простой логический вывод.

Вот и Петербург — изначально это противодействие туманам, болотам, климату, оно создавало фон или характер *бытия вопреки*. Это, несомненно, город, где поэзис, даже простая необходимость поддержания города на плаву, на кромке существования, требовал невероятных усилий. На генезис этот город упорно не хотел переходить, по крайней мере, вплоть до Павла, и даже до Александра I. Почти каждое десятилетие, как известно, требовалось издавать новый указ о привлечении в Санкт-Петербург разного рода «сволочи», то есть тех, кого принудительно сволокивали для строительства и даже просто для заселения. Приходилось делать это принудительно, потому что люди болели, вымирали, убегали, крестьян не прельщало даже освобождение от крепостной зависимости. Невероятными усилиями поддерживалось существование северной столицы, пока, наконец, в начале XIX века город не обрел свой собственный миф, а также странное невероятное единство тела и души, которое, на мой взгляд, было основано как раз на том, что удалось достичь примирения различного класса существ, прежде всего, живых и мертвых.

Не будем забывать, что нам это сейчас представляется чем-то естественным: предназначенность города для того, кто в нем просто, по факту, живет. Но ведь в истории человечества так было не всегда. Скажем, известно, что

города древнего Египта, первых трех династий, это преимущественно города для мертвых. Это усыпальницы, гробницы, величественные пирамиды, выстроенные с любовью и невероятным тщанием на одном берегу Нила, и временные жилища для *ныне живущих* на другом. Города строились и сохранялись как предвестники вечной жизни. Настоящие города Междуречья были обустроены как порталы для общения с богами. Типичный буржуазный город, который Макс Вебер описывает в своем исследовании, лишь он предназначен для ныне живущего поколения, хотя даже он остается каким-то ненастоящим городом без своей «исторической части».

И в Петербурге, мне кажется, был однажды достигнут удивительный консенсус, который дал место всем. Немало ныне живущих обитает где-то во внутренних лохмотьях города, а его прекрасные фасады и Невы державное течение далеко не всегда доступны их взору. Однако, это означает, что и другие классы существ, прежде всего *великие мертвые* Санкт-Петербурга, которые прежде всего суть авторы и герои русской литературы, но также инженеры, генералы и просто воины, отнюдь не отправлены окончательно в мир иной. Они оставались почетными гражданами города, заполняли городскую топонимику, места их присутствия сберегались и сберегаются в надлежащем виде. И даже некоторые избранные мертвые Санкт-Петербурга посмертно продолжали улучшать свои жилищные условия. Последним в этом списке был поэт Бродский, который проживал в Ленинграде в коммуналке на Литейном, но посмертно все-таки свои жилищные условия улучшил — остальные комнаты были выкуплены, и теперь там размещается музей-квартира Бродского.

Пребывая в посмертии, наши избранные мертвые порой меняют свой нрав. Например, Белинский — петербуржцы говорят, что при жизни это и вправду был какой-то неистовый Виссарион, но посмертно — ничего, успокоился, и живущие на улице Белинского это охотно подтверждают. Иначе обстоит дело с Репиным: он, при жизни человек на редкость дисциплинированный и собранный, стал покровителем загулявших и отправившихся в запой (об этом рассказал мне приятель, живущий рядом с площадью Репина).

Классы существ-обитателей города, нуждаются в упорядоченной шкале классификации. Мы должны выделить не только мертвых первого порядка, но и мертвых второго порядка, собственно говоря, литературных персонажей, которые вошли в плоть, и в тело, и в душу Петербурга. Наш город принадлежит и им тоже, начиная, по крайней мере, с Евгения из «Медного всадника», Все они составляют незримую часть населения нашего прекрасного шизополиса. Кажется, что мертвые всех порядков, а также призраки и призраки призраков посмертно дружат (выборочно и непредсказуемо) и наносят друг другу визиты. Чинари-ОБЭРИУты охотно прогуливаются со Свидригайловым и замечены в компании Рогожина, а их персонажи нередко оказываются в обществе ныне здравствующих митьков — особенно, Пепермалдеев по свидетельству самого Шинкарева. Некоторые мертвые питерские поэты продолжают читать свои стихи, особенно это относится к Олегу Григорьеву. Известный писатель Сергей Носов рассказывал, что буквально неделю назад Олег Григорьев в полупризрачном виде декламировал ему свое четверостишие, ночью, на набережной Карповки:

Пьет оса кисель из чашки,
Ловко сидя на краю.
Мне нисколько не страшно —
Я с другого края пью.

Все продолжающие обитать существа, сущности и тени выполняют свою миссию. Они не дают нам впасть в сугубый прагматизм, в некую предсказуемую бинарность, а заставляют жить в мире, где позывные небесных затумисов (Даниил Андреев) пересекаются с кругами inferнальности. Почему в просторах петербургских площадей и прямых проспектов всегда остается немалый объем пустого пространства, которое никто не заполняет? Не потому ли, что сама интуиция приобщения к городу требует оставить место для всех классов существ? Я помню, как мы обсуждали с Павлом Крусановым общее название серии мемуаров, и выбрали «Беспокойники города Питера». Это очень удачное название для книжной серии, посвященной людям, сохранным Петербургом.

Между прочим, это нам вполне подтверждает не кто иной, как Гоголь, обладатель величайшего inferноскопического зрения. И в этом качестве он, на мой взгляд, превосходит и Гофмана, и Эдгара По. Увиденное им в Петербурге органично вписалось в его творчество. Научившись отслеживать клочки красной свитки на просторах Малороссии, Гоголь — хотя, может, и не сразу — обнаружил, что на площадях Санкт-Петербурга, в душах его обитателей, в книгах его авторов шевелятся и стремятся слиться воедино клочки воистину inferнальной Шинели. Он увидел и распознал кое-что покруче украинского ведьмачества, благо, что понимал толк в этом деле. Если в соответствующем ключе прочесть петербургские повести Гоголя, станет ясно, что и Диканька, и Миргород отдыхают, потому что именно здесь, под этими шинелями, под этими парадными мундирами шли себе и шли какие-то удивительные люди, которые, на первый взгляд, ничем не отличались от всех прочих людей, но, если присмотреться, то предков будущих персонажей Хармса можно опознать без труда. И неизвестно, что они выкинут завтра.

Inferнальная составляющая Невского проспекта и петербургских площадей, конечно же, глубочайшим образом включилась и до сих пор включается в метафизику Петербурга. И мироощущение того, кого этот город принял (а скольких не принял!), непременно включает в себя резонаторы inferнального и призрачного. В этом городе образцово налажена многоканальная коммуникация живых с мертвыми. Быть может, вследствие этого я бы сказал, что Петербург самый антифамиллярный город на свете. Быть принятым в нем за своего не так просто. Несомненно, для этого требуется некоторая доля шизы — определенная шизотенденция, направленная по ту сторону добра и зла. Гоголь все это видел.

И мы исторически все это прекрасно видели, начиная (ладно уж, Петра оставим в покое) с Ледяного дома. Когда волею императрицы Анны Иоанновны был построен для шутовской свадьбы дворец — и на протяжении, как минимум, года вся Россия работала на эту странную, неслыханную петербургскую затею: чтобы всё было изо льда, вплоть до игральных карт, чтобы было каждой твари по паре, чтобы все народы могли присутствовать на этой шутовской

свадьбе — тогда Петербург впервые предстал перед нами, что называется, во всей красе. Все бразильские карнавалы отдыхают по сравнению с тем, что представляло собой это празднество Ледяного дома в Петербурге. Ну разве это не прекраснейший образец питерской шизы, которая с тех пор, в общем-то, не утихая, своими толчками, своими глубинными проявлениями обогащала жизнь нашего города и выбивала его из предсказуемости, однозначности, прагматизма и утилитарности. Чем-чем, но прагматизмом и утилитарностью Петербург не страдал никогда, и никогда, я надеюсь, он не впадет в этот грех уныния и банальности, который метафизически не прощаем.

Начиная с Ледяного дома, проходя сквозь всю череду невероятных удивительных событий — ну, например, какого-нибудь распоряжения императора Павла о том, что необходимо всем ложиться в определенное время, чтобы ни одной непогашенной свечи не было в домах, и специальные наблюдатели ездили, проверяли, кто осмелился ослушаться императорского повеления — мы застаем и узнаем экзистенциально-историческую монограмму Санкт-Петербурга.

Да, мы всегда видели то, что мы называем решительным перевесом символического над просто реальным. Умышленность, обретение души и тела города зафиксировались и сработали именно тогда, когда был достигнут этот невероятный симбиоз между всеми классами существ — а также между символическим, между ценностью архитектурной панорамы, например, и тем, какую достойную жизнь может прожить в этом городе тот, кто им принят и кто этим городом храним. Таких немного, но они, безусловно, есть. И периодические опустошения города, которые тем не менее сохраняли его символическое, служит тому подтверждением. В каком-то смысле даже и блокада Ленинграда может быть истолкована как некая великая жертва во имя символического. Во имя тех культурных ценностей, рукописей, святых мест, судьбы которых не подлежат никаким переговорам. Потому что это святое. Этот город принадлежит не только нам и не только нам решать его дальнейшую судьбу.

Его историческое бытие есть непрерывное торжество символического. Это проходящая сквозь всю историю готовность сигнализировать в вечность свои культурные и символические приношения. То, что так хорошо понимали уже не раз упоминавшиеся чинари, когда они в доме Зингера забирались на всем нам знакомую башенку и читали там свои стихи, обращаясь к памятникам напротив и к другим петербуржцам, тогда уже ленинградцам. Не удивительно, что всемирной родиной абсурда стал Петербург. Какому же еще городу быть великим прибежищем необыкновенных феноменов, которые явно не в ладу со здравым человеческим смыслом, но зато отвечают за повышенную странность мира, без которой невозможно производство души. И так было вплоть до самой Перестройки, когда Москва вела вполне вразумительную политическую жизнь, а Петербург был больше всего озабочен тем, чтобы не построили дамбу. И мы понимаем, какое счастье, что никто не послушал тогда петербуржцев, а дамбу все-таки построили... И таков был город на протяжении всех 300 лет. Как шизополис, он не может не содержать в себе глубочайший уровень автотравматизма, неотделимого от его духовной высоты. Такова его обратная сторона. Как совсем еще недавно

сопротивлялись башне Газпрома: кажется, не было ни одного петербуржца, который в альтернативе «пейзаж или деньги?» выбрал бы второе. Но теперь, кажется, привыкли.

Ну и, соответственно, вспомним совсем недавнюю «Асса-культуру» — абсолютно петербургский феномен, связанный с необычайно интересными людьми, с Курехиным в первую очередь, с Тимуром Новиковым, Африкой и другими. Тот же Курехин со своей «Поп-механикой» — один из самых питерских. Идея «Асса-культуры» была далека от прямой политики и состояла в том, что всегда возникают какие-то странные миры сквозной сборки, где нам пригодится и Гагарин, и какие-то заветы Петра, странным образом прочитанные, и эта высшая степень взаимной конвертации Эроса и Логоса, решительно поддерживаемая несимметричность отношений этих начал, что в любом случае направлено против прагматизма, против повсюду сегодня торжествующего эквивалентного обмена.

В этой связи приходится обращаться к привычной оппозиции «Петербург-Москва». При всей своей затертости она, на самом деле, очень полезна. Она является великим подспорьем на уровне бинарных оппозиций. Здесь мы могли бы вполне согласиться с Леви-Строссом, что лишняя бинарная оппозиция не помешает. Если противопоставления профанного и сакрального, сырого и вареного, мужского и женского и прочего в том же духе работают достаточно интенсивно для того, чтобы диктатура символического была утверждена, а значит, и удержано человеческое в человеке, то появление такой дополнительной особой оппозиции «Москва-Петербург» (где, опять же, с Москвой должна ассоциироваться хозяйственность, домовитость, упорядоченность, обозримость близкого круга, прогнозируемость, соответствие всем эквивалентам — денежным, материальным, взаимозачету услуг, а в Петербурге всему перечисленному соответствует нечто противоположное или, по крайней мере, *нечто иное*) позволяет удерживать самобытность двух начал или двух полюсов русской жизни. Перед нами тот случай, когда противопоставление взаимно обогащает, увеличивает *мерность феномена* и мерность причастных к нему субъектов.

Исходя из оппозиции, дополнительно проясняется, что идея петербургского абсурда и идея необходимости отчета перед всё теми же удивительными существами, которые наш город бесспорно населяют, — идея эта настолько органична для подлинного субъекта-горожанина, настоящего петербуржца, что без такого постоянного отчета невозможен и аутентичный самоотчет. Уместность отчета перед посланцами потустороннего подтверждает и плотность присутствия ангелов, призраков, привидений и привидений привидений, то есть привидений второго порядка, которая превышает средний показатель брошенного средневекового замка, где привидения к тому же какие-то однообразные и унылые по сравнению с нашими роскошными призраками. Еще раз: город переполнен избранными литературными персонажами, всеми героями мысли и чувства, недожившими свое, недогулявшими, непонятыми. Петербург богат недопрожитыми жизнями, которые, однако, депонированы в удивительное хранилище, где задействованы и вправду все слои, начиная от нашего шпилья Петропавловки.

Это же относительно него, шпилья Петропавловской крепости, схоласти Средневековья спрашивали — сколько ангелов поместится на кончике иглы? Ясно, что имелся в виду всегда этот шпиль, просто о нем еще не знали, но смутно предчувствовали, что подобный коллектор ангелов и призрачных субстанций непременно возникнет. И возник, и поэты Петербурга сразу опознали эту иглу и разобрались с ее метафизической и космологической функциями:

И жизнь эта, многого стоя,
Затем и по швам не пошла,
Что крепко прошита была
Граненой иглой золотою.
(Наталья Романова)

Ангельская и inferнальная составляющие отражались и отражаются друг в друге. Где такое возможно? Ну, конечно, по ту сторону добра и зла. И таким образом мы можем определить главную топографическую привязку Санкт-Петербурга. Остальные координаты менялись в соответствии с проходящими эпохами, но пребывание по ту сторону добра и зла оставалось неизменным. Собственная inferнальная локализация Ленинграда–Петербурга высветилась и в советские годы; формально это было связано с тем, что Москва отапливалась несколькими огромными ТЭЦ, а Петербург — множеством маленьких котельных. И в каждой котельной сидели свои чудесные inferналы, которые занимались там... Чем только там не занимались! Поэзией, санскритом, дельтапланеризмом, структурной антропологией и другими воистину удивительными вещами, и никого это совершенно не удивляло. А почему бы им там этим не заниматься, ведь коллеги разной степени воплощенности это одобряют. Зачем же думать о том, чтобы идти в ногу со временем или как-то попасть в такт прогрессу, или, тем более, совершать выгодные инвестиции, если можно возделывать свои странные нивы — раз уж так выпало, что ты живешь в Петербурге, дышишь его воздухом и общаешься со всей иерархией здешних зримых и незримых обитателей.

Есть еще одна оппозиция, не слишком исследованная, но немаловажная. Она связана с дихотомией двух сакральных поздних советских текстов. С одной стороны, «Москва-Петушки» Вениамина Ерофеева — бесспорно чисто московский текст по своей наполненности. А с другой — «Максим и Федор» Владимира Шинкарева, сакральный текст наших митьков. Тут действительно есть о чем задуматься. И *вот* где необходима метафизическая зоркость! С теодицеей и антроподицеей в русской философии и, конкретно, в петербургской метафизике, вроде бы все в порядке, имеются интересные и содержательные исследования. А вот разобрать *алкодицею* Москвы и Петербурга в рамках общей конструктивной оппозиции, на уровне «Москва-Петушки» и «Максим и Федор» —эта животрепещущая тема все еще ожидает своих вдумчивых и способных опереться на собственный опыт исследователей. Подобное исследование пролило бы свет и на метафизику Петербурга в целом, учитывая, что алкоголь есть важнейший медиатор измененных состояний сознания, в том числе и в русской философской традиции. Понимание того, как рабо-

тает этот медиатор в условиях Петербурга (кажется, последние незатейливые соображения на этот счет содержатся в песенке Сергея Шнурова «В Питере — пить»), помогло бы понять, почему наш город никогда не расстанется со своим вечным Ледяным домом. В глубине души петербуржцы знают, что рано или поздно все равно аналог Ледяного дома будет найден (да сколько их было!), и какое-нибудь всемирное безумие замутят именно здесь. Этот вывод следует из анализа метафизики Петербурга.

ПРЕНИЯ ПО ВЫСТУПЛЕНИЮ А. К. СЕКАЦКОГО «МЕТАФИЗИКА ПЕТЕРБУРГА»

О. Н. КОШУТИН: Александр Куприянович, спасибо за выступление. У вас чувствуется... не скажу негативность, но некоторая отстраненность и прагматизм. И в то же время метафизика у вас тесно связана с символизмом. Какая-то связка в ваших представлениях между символизмом и прагматизмом есть относительно города?

А. К. СЕКАЦКИЙ: Если мы будем придерживаться лакановского разделения между реальным, воображаемым и символическим, то в этом плане как раз в Петербурге оно спонтанно устраняется, поскольку символическое выступает не как репрезентирующее некие внутренние позывные тела или экзистенциального заказа, а как своего рода странная случайная фиксация узора, которая при этом оказывается самодостаточной. Есть какие-то прецеденты; относительно них мы, может быть, и не знаем, почему они случились. Как если бы был создан опус во имя опуса. И как раз приоритет такого символического, на мой взгляд, может быть отнесен к сущностным чертам метафизики Петербурга. И он действительно прослеживается в самых разных проявлениях, зачастую укрываясь от самосознания. Мы, например, будем голосовать и выслушивать тех представителей городской администрации, которые станут нам рассказывать, как они улучшат жизнь горожан, как они добьются человеческого лица для этого города. Но в глубине души, и уж тем более в кармане, каждый будет держать фигу, потому что чего бы они ни добились в сугубо утилитарном смысле, сокрушать-то наш шизополис мы им все равно не позволим. То есть все равно должны остаться все классы живых существ, всё символическое в статусе реального, которое и будет, на мой взгляд, характерно для сборки такого субъекта как обитатель Петербурга.

Р. Н. ДЁМИН: Вы не чужды, я знаю, традиции использования платоновских написаний текстов в виде диалогов. Вы, наверное, помните такое произведение Козлова как «Беседы с петербургским Сократом», написанное значительно раньше, чем текст Бенямина. С вашей точки зрения, та метафизика, которая пронизывает все это произведение, — это сельская метафизика или это метафизика городская?

А. К. СЕКАЦКИЙ: Вынужден признаться в своем невежестве, я, к сожалению, не читал эту книгу. И тем не менее я несколько не сомневаюсь, что

метафизика Петербурга есть городская метафизика высшей пробы. Скажем, от Рима нам осталась *Urbi et Orbi*, противоположность публикума и атриума, которая не нашла метафизического воплощения. Победила все равно сельская уединенная метафизика. И именно Петербург в лице всех его полномочных представителей, от Пушкина и Гоголя до Вагинова и Шинкарева, и уж тем более Курехина — это именно возможность или попытка определить некоторые черты метафизики города в высшей степени уникального, именно города, где найдут свое или могли бы найти свое место, например, фигуры *das MAN*-присутствия, присутствия в анонимности городской среды. Сам Хайдеггер это отчасти имеет в виду, когда говорит, что подлинность, свойственная модусам *Dasein* — бытие к смерти, забота и заброшенность в мир — противостоит частным модусам *das MAN*, то есть таким, которые не являются онтологическими, являются лишь онтическими. И, соответственно, возможность скрыться в этой анонимной среде, которая присуща *das MAN* (как перевел этот термин Даниель Орлов — *людьё*), она не столь однозначна, как может показаться. Потому что тут есть еще и некая устремленность из настоящего публикума, где тебе видят, где каждое слово твое слышат, но «выносимость» такого бытия имеет пределы. Она, выносимость, в общем-то обеспечена каждой общиной, каждой деревней. Кроме того, членораздельность речи и всех речей — идеал греческого полиса. Тем не менее мы знаем и видим, что из всех таких местечек, деревушек устремляется в большой город огромное количество людей, юношей и девушек. Что-то они такое находят в этой анонимности городской среды, поэтому она так важна. И поэтому же мне кажется, что как раз анонимность среды Петербурга, это условное (и безусловное) петербургское подполье и фон в наибольшей степени насыщены, инфицированы метафизическими формами присутствия.

То есть если ты попал в эту среду, то страх унылого прагматизма и расчетливости тебе, скорее всего, не грозит. А повышенная степень автотравматизма — возможно, грозит. Но именно это дает нам важный момент понимания метафизических контуров нашего города. И при всем том нельзя не признать, что на сегодня мы по-настоящему не имеем такого текста, о котором мы могли бы строго сказать — вот она, противоположность «сельской метафизике». Мы не имеем аналога «Бытия и времени», который был бы действительно *городским* произведением, а имеем лишь отдельные очаги, высвеченные линии, эйдосы. И, с другой стороны, я думаю, что в условиях заката большого города, всемирного заката большого города, который не успел расцвести как феномен, Петербург будет дольше всех сопротивляться, поскольку, слава Богу, всё XVIII столетие сопротивлялись поглощающим силам болот. Найдется возможность сопротивляться и поглощающим силам забвения. В данном случае наши мертвые нас не оставят в беде, и наши призраки тоже, и наши привидения, наши литературные двойники — они тоже отстоят свой город.

А. А. ЕРМИЧЁВ: Как соотносятся метафизика Петербурга и метафизика России?

А. К. СЕКАЦКИЙ: Я думаю, что зависимость метафизики от любого эмпирического расклада бытия не следует преувеличивать, иначе мы неизбежно

впадем в профанацию. Лишь тогда, когда происходит, так сказать, интоксикация текстов благодаря определенной топологии их создания, и, напротив, *интоксикация текстами*, особого рода текстами, мы вправе говорить о метафизике города N. Я помню не так давно проходила в Москве конференция, посвящённая Лосеву и Лихачеву. И их искусственному, на мой взгляд, надуманному противостоянию, где Лосев как человек московский противопоставлялся Лихачеву как человеку петербургскому. На этом основании была прочитана пара десятков докладов. Ну, с одной стороны, это та самая бинарная оппозиция, которая дает нам возможность производить тексты, то есть как-то работать. Мы всегда можем найти тот или иной взгляд, но ведь могло быть и наоборот. Я не исключаю, что вдруг кто-то из-за неосведомленности стал бы говорить о ленинградце Лосеве и москвиче Лихачеве, это было бы забавно, но не так страшно. А вот чинарей-ОБЭРИУтов никто никогда не спутает, это точно абсолютно питерский феномен, так же как питерский андеграунд бесчисленных котельных. Так же, как я думаю, и феномен митьков. Существуют сущностные феномены, которые мы не можем ни с чем другим спутать. И существуют рабочие оппозиции, которые просто помогают нам как-то развернуть тему. Я думаю так.

И. Н. МОЧАЛОВА: Если я не ошибаюсь, в 1998 далеком году в Праге вы делали доклад «Метафизика Петербурга». Прошла четверть века — изменилось ли ваше представление о метафизике Петербурга? Или, может быть, открылась какая-то тенденция иных перспектив?

А. К. СЕКАЦКИЙ: Да, тот пражский доклад, прочитанный на пиджин-инглиш, но тем не менее внимательно выслушанный аудиторией, мне запомнился тем, что это все же была конференция, посвященная метафизике больших городов. Она проходила несколько лет, в разных городах, в том числе в Праге. Там были люди, которые рассказывали о метафизике Барселоны, Нью-Йорка, Сиднея. И начинали они всегда так: ну, понятно, метафизика Петербурга — с ней ясно, каждый скажет, что она есть. Но ведь и у Барселоны есть своя метафизика. А его коллега уверял, что и у Сиднея есть своя метафизика. То есть некоторым образом наш город был обозначен как эталон — вот город, у которого точно не может не быть метафизики, потому что тогда пришлось бы признать, что он, наш Петербург, существует в чистом безумстве. А это уж слишком эпатажное утверждение... И кстати, со-доклад о метафизике Петербурга, помнится, делал представитель Италии. Он, в противовес, свой текст произносил на пиджин-рашен, что тоже было очень здорово. И некоторые тезисы, я думаю, мне по-прежнему близки, а некоторые, может быть, уже не актуальны или не столь актуальны.

М. ФОМИНА: Я рада, что в свое время мне удалось устроить такое заочное интервью-полемику между вами и присутствующим здесь Александром Леонидовичем Казиным, между двумя известнейшими Александрями нашей петербургской метафизики для журнала «Богемный Петербург». Вы замечательно вашим инферноскопом осветили вот эту темную нижнюю бездну Петербурга в диапазоне от Гоголя и Достоевского до Андрея Белого и даже митьков. Скажите, пожалуйста, а что же в Петербурге есть святого? В нашей метафизике города что свято? И есть ли города без метафизики?

Вот, например, Сидней. Есть ли там вообще метафизика или там сплошная физика?

А. К. СЕКАЦКИЙ: Я в таких случаях люблю вспоминать финал, концовку «Властины колец», где силы добра одержали победу, соответственно, кольцо всевластья брошено в жерло вулкана и силы зла, во главе с Саруманом, исчезли. Но вслед за этим происходят странные вещи — какие-то волшебные завитки присутствия тоже исчезают, Долян покидают светлые эльфы. То есть происходит некое всеобщее выравнивание рельефа, образуется континуум, где все прозрачно и понятно. Я полагаю, что Петербург предельно противостоит подобным континуумам. И мы действительно можем положить и на инферноскопическое зрение Гоголя и на какие-то вещи, включая ту же блокаду, когда немецкие листовки, призывавшие ленинградцев сдаться, как известно, были разбросаны по всему Ленинграду. Никто не убирал их с улиц, их просто использовали для растопки, потому что кому могло такое прийти в голову — сдать свои самые священные символы... В блокаду поэты Ленинграда читали в бомбоубежищах свои стихи (и образцы русской поэзии) друг другу и оказавшимся там ленинградцам. И, мне кажется, вот это и есть та высшая сторона символического, которая столь же органично связана и с его глубинами. И глубина пропасти, и высота вершин, если угодно, вершин духа, готовность до последнего момента хранить поэзию, какие-нибудь великие опусы, какие-нибудь просветленные состояния души. Но то, что при этом приносимо в жертву, или по крайней мере пребывает в некоем небрежении — это как раз та самая повседневность, все эти пресловутые удобства для горожан. Даже то, что выглядит как чистый дар, и то, что таковым является, все равно имеет свою темную, погруженную в невидимость сторону, но не из-за неё же бить в колокола; для этого есть другие поводы.

Е. БИЛЬЧЕНКО: Возвращаясь к методологии Лакана и исходя из вашего тезиса о том, что в Петербурге символическое самодостаточно и замкнуто — как вы полагаете, где, если это возможно, искать в Петербурге реальное реальное, если инфернальное символическое в котельной, парадное символическое в музее? И связано ли это реальное реального, возможно, со святостью?

А. К. СЕКАЦКИЙ: Лакан все же полагал, что эта триада сохраняется всегда. Он не считал, что, например, возможность высказаться создает свою собственную реальность. То есть само озвучивание символических потоков не просто задает некоторый уровень присутствия, но и преобразует реальное, потому что такова освобождающая сила речи. Речь освобождает нас, среди всего прочего, от наваждения. От персика в отсутствие персика. От этих навязчивых картинок, которые должны быть высказаны, репрезентированы. И мне кажется, что петербургская ситуация как раз связана с этой невероятной презумпцией слова и репрезентации в целом. Город требует: ты должен это высказать, ты должен, обращаясь к еще живым и к уже мертвым, но не ко всем мертвым, к избранным мертвым, попытаться выразить это в словах, в образах, в своем опусе. Причем в каждом значимом фрагменте присутствия то, что принято считать символическим и что является символическим, составляет саму суть нашей жизни. Без него реальное остается чем-то слепым или просто бросовым. И тогда оно — остаточное реальное — не то чтобы дезавуируется,

но не очень-то нас беспокоит, и уж точно не очень-то беспокоит в фрейдовском смысле, где это реальное должно так или иначе поведенчески и телесно воплотиться. То есть я думаю, что глубина пресуществования или, если угодно, интенсивность сублимации в символическое составляет характерную черту метафизики Петербурга. Что своей обратной стороной как раз и являет странную пунктирную петербургскую чувственность, крайне своеобразный союз Логоса, Эроса и Бахуса, уникальный для Петербурга.

Р. Н. ДЁМИН: Как, по вашему мнению, соотносятся метафизика Петербурга и метафизика Ленинграда?

А. СЕКАЦКИЙ: Мне кажется, с определенной преемственностью. Приоритет символического мы видим и там, и там. Чего стоит невероятная радикальность обновления поколений! Допустим, можно говорить про коренного москвича, хотя и пожимая плечами при этом. Про коренного ярославца — запросто. С Петербургом же вообще дело обстоит фантастически — мало того, что в течение всего XVIII века новую «сволочь» сволакивали отовсюду ввиду вымирания предыдущего слоя. Но ведь нечто подобное происходило регулярно, особенно начиная с ктябрьской революции, когда пришли совершенно новые люди, другое поколение. После блокады всё повторилось. Мы не гарантированы от того, что оно еще не раз повторится. Но парадокс в том, что обретение значимого эйдоса души города и мифа города приводит к тому, что приходящему со стороны поколению или пополнению просто некуда деваться. Эйдос-то здесь. Шпиль здесь. Наши мертвые по-прежнему здесь. Они воспитают — как положено воспитать настоящего петербуржца, с должным уважением ко всем классам существ.

К. СТРАХОВ: Когда мы говорим о метафизике Петербурга, подразумеваем ли мы некое цельное единое пространство? Или это пространство все-таки дисперсно? Или оно может быть разделено? Может быть, даже районировано?

А. К. СЕКАЦКИЙ: Я полагаю, что мы, прежде всего, должны иметь в виду ядро; то, что Шпенглер называл пра-символом, а Ролан Барт — мифологической виньеткой, приводя обычно в пример яблоко Ньютона и скрипочку Эйнштейна. Есть ли в этом случае нечто подобное пра-символу или виньетке? Например, годится ли Ледяной дом в таком качестве? Я не знаю. Но в этом, конечно же, самая суть, это тот сжатый Sprung, который должен быть реализован и высказан самыми различными способами — в архитектуре, в планировании, в форматах городского искусства. В конце концов, в том же питерском отделении ВХУТЕМАСа, формах народного искусства 1918–1920 годов — в тех демонстрациях и шествиях победившего пролетариата, которые до сих пор не имеют аналогов в современном актуальном искусстве. То, что творилось тогда на Дворцовой площади, до сих пор не превзойдено. То есть это основа того внутреннего ядра, которое, с одной стороны, можно считать безумием, но, с другой стороны, в любом случае анти-прагматизмом. Это великое предотвращение замыливания глаза, наоборот, его вечное «размыливание», поскольку всегда кажется, что такого еще не видели. И это, опять же, те пласты влияний, которые ниспадают на нашу литературу, на определенный способ отношений, на пресловутую анти-фамильярность, на некоторую специфику поведения. Везде мы

можем отследить определенные метафизические черты. Иногда они едва присутствуют. Кое-где, может быть, вообще не присутствуют. Есть и страх, что какое-нибудь очередное поколение не возобновит выбор своих отцов и дедов. Сейчас это опасение достаточно велико. Но тут мы все помним ситуацию контркультуры, ситуацию рока и «Битлз», когда казалось, в том числе представителям Школы «Анналов», что не возобновится прежняя национальная трансляция, что у датчан не будет Дании, у чехов не будет Чехии, что у всех родина будет «Битлз» и некое вечное странствие в сторону Шамбалы и Гималаев, сопровождаемое свободной любовью. И в общем-то немало усилий понадобилось для того, чтобы вернуть прежнюю идентификацию. Сейчас в мире в эпоху электронных пастбищ мы примерно перед таким же вызовом находимся: может быть, на этот раз прорыв будет более успешным. Может быть, на этот раз *человеческие люди* проиграют трансгуманизму, кто знает. Тем не менее Петербург как раз в этом отношении оказывается удивительно мощным, практически непреодолимым аттрактором. Здесь настолько мощный способ сборки с присутствием истории, безумия, шизы, что никакие социо-пастбища этого и близко не заменят. Поэтому я полагаю, что это еще и форма защиты, которая нас может метафизически собирать, удерживать и позволять противостоять силам остывающей вселенной.

Р. Н. ДЁМИН: Правильно ли будет сказать, что метафизика крови лежит в основе метафизика города?

А. К. СЕКАЦКИЙ: Крови? Не уверен. В ряде случаев — да, можно с Гегелем и Кожевным соглашаться. Но в том, что касается Петербурга, мне кажется, есть множество равноправных субстанций. И даже потоки символического, как это ни парадоксально, не смываются и не размываются, а пульсируют, как минимум, на равных. И если ритмоводителем крови является сердце, то в случае Петербурга сердце — странный ритмоводитель, который параллельно разгоняет и символические потоки и собственно то, что мы называем кровью и плотью, — и они пересекаются в каком-то причудливом узоре. В этом смысле, конечно же, метафизика крови не предопределяет метафизику нашего города.

А. ЕРМИЧЁВ: Пожалуйста, кто хотел бы выступить по поводу услышанного или не услышанного в докладе?

Г. МЕДВЕДЕВ: Вопросы, прозвучавшие в ходе прений, позволили Александру Куприяновичу шире раскрыть свою точку зрения, свой парадоксальный взгляд на проблему. Я, во-первых, не назвал бы это докладом; мне кажется, многие сначала говорили «спасибо за этот доклад». Какой это доклад — это прекрасный концерт, выступление! Я, надо сказать, шел сюда с некоторым критическим настроением: название какое-то странное — «Метафизика Петербурга»... Думал, что за бред такой? Банальность, навязная в зубах, в ушах, не знаю в чем. Что Александр Куприянович, которого я знаю и нежно люблю много лет, хотя мы и не близкие друзья, — что он об этом сможет сказать? И вдруг он сказал *такое*, что мы должны ему не просто говорить спасибо, а должны быть благодарны, что мы участвуем вот в этом действии. Я много раз его слышал, но сегодня впервые был потрясен — насколько это ярко звучит! Я бы даже сказал, что и выглядит Александр Куприянович теперь ну просто

как настоящий философ, как пророк (иногда надо сказать человеку приятное в конце концов, а не какие-то пустые «спасибо за доклад»).

Я видел выступление, я бы сказал, такого философского безумца. Мы все склонны к безумству... И думаю, что без этого никакой метафизики в нашем городе бы и не было, это одна из его необходимых составляющих. Особенно великолепно было сказано про «посмертное улучшение жилплощади Бродского». Ледяной дом — тоже прекрасный пример. Господа, Александр Куприянович многое мне объяснил во мне самом и, может быть, вам — в вас — тоже. Мы все являемся обитателями крупнейшего шизополиса. Думаю, почему я до сих пор не имел достаточного успеха в этой жизни? Шизоидности маловато. Надо ее иметь больше в нашем городе, и вообще в мире. Александр Куприянович, вы имеете ее в высшей степени в хорошем смысле этого слова. Поздравляю вас, спасибо огромное.

А. К. СЕКАЦКИЙ: Спасибо.

О. Н. КОШУТИН: Я не могу не продолжить первого выступающего и не похвалить, конечно, докладчика. Но сначала должен заметить: меня всегда удивляло, как это все выстроено. Два доклада, за которыми стоят вопросы о роли философии в истории, о философии в России и русской философии. Докладчик из Москвы* и докладчик из Петербурга. Вы говорите — почему не слышали о метафизике Москвы? Да потому что философы московские как правило говорят о метафизике России, чего им отделять от нее Москву, а петербургские — все с таким вот акцентом. И я позволю себе в этом плане отреагировать сразу на оба доклада, поскольку на мой взгляд они связаны.

Скажу, что нынешнего докладчика я слушаю очень давно, с интересом и удовольствием, всегда и всем настоятельно рекомендую его слушать. Но, как правило, слышу такое: «Ну... как-то не очень-то понятно, о чем он там говорит». Я отвечаю: «Это не важно. Важно, что он понимает, о чем он говорит». Несколько лет назад случилось мне разговаривать с одной дамой — креативным директором одного из тренинговых агентств. Она сказала: «Обожаю слушать Секацкого, ничего не понимаю, но после этого столько креативных мыслей в голове». Поэтому я и в этом смысле тоже его похваляю.

Что касается самого доклада... Прозвучало — всё началось с Парижа и это не случайно. Во-первых, фланер — действительно центральная фигура в этом смысле, но он же не появляется сам по себе. Ведь Париж — это город многих революций, как, кстати, и Петербург. Париж — это бульвары, богема, кафе, архитектура. И только в этом контексте, в этих конфигурациях может возникнуть такая фигура как фланер.

С другой стороны, тут возникает проблема с метафизикой, на что я хотел специально обратить внимание, поскольку это было в обоих докладах. Там разговор был сложный, не все удалось обсудить, но я бы на одно обстоятельство отреагировал намеренно. Тогда было выражены некие надежды на возрожде-

* Выступающий имеет в виду доклад М. А. Колерова «К большой программе исследования русской философии», состоявшийся 8 апреля 2022 г. с материалами предыдущих заседаний можно ознакомиться в разделе семинара «Русская мысль» на сайте РХГА: <https://rhga.ru/science/conferences/rusm/> (См.: «Русская философия». 2022. Вып. 1 (3). С. 144–154).

ние, прорыв, на наше будущее. М. А. Колеров говорил, что он видел работы выпускников духовных академий, и если придать этому делу ход, то и случится то, что мы хотели бы видеть. Я в этом сильно сомневаюсь. Я не стал тогда специально говорить, а сейчас скажу, потому что это мне сильно напомнило события конца позапрошлого века, когда высокие начальники и режим, исходя из охранительных соображений, соображений своей безопасности, увидев такой натиск либерализма, приняли решение о свободном доступе семинаристов в университеты. И Россия утонула в метафизике слов. Но за словами всегда наступает реакция дела. И появились люди дела, разномастные террористы, которые начали лишать жизни министров, премьер-министров, губернаторов и так далее. А потом появились другие люди дела, большевики, которые тоже заявляли, что дело не в словах, что нужно все перестраивать и переделывать. Ленин говорил о практике (и эти его слова, как правило, недооценивают): практика — критерий истины. Тексты не сильно интересовали Ленина, а вот дело гораздо больше. Поэтому мне бы хотелось, чтобы занятия метафизикой не снимали вопросов о роли философии и ее влияния на нашу жизнь. Это я к вопросу о перспективе журнала.

И еще одно. Мне кажется, очень важно и нужно, учитывая многолетний опыт нашего семинара, организовать на платформе нового журнала дискуссию о роли философии и ее значении. Это мое вам предложение.

А. Л. КАЗИН: Я слушаю Александра Куприяновича — и у меня остается такое ощущение, что для него собственно метафизика и есть символика. У него как бы отождествляются символика с метафизикой, а метафизика — с символикой и культурой. Между тем традиционное понимание слова «метафизика» означает некую онтологическую, не просто онтическую, по Хайдеггеру, а именно онтологическую реальность. А русская традиция восходит к божественным энергиям, которые придают этой метафизике собственное бытие, не сводимое ни к слову, ни к символу, ни к понятию. Весь этот замечательный рассказ находился именно на уровне символической культуры, которая только иногда как бы чуть-чуть намекала, что есть эти слои *мета*-физики и *инферно*-физики. Но Александр Куприянович ничего не сказал об их природе, сославшись на авторитет Гоголя. Знаете, мы верим Гоголю, он посещал миры нисхождения. Можно еще было бы вспомнить здесь Даниила Андреева с его «Розой мира», там детальнейше описаны миры восхождения и миры нисхождения. Причем не на уровне культуры, а на уровне реального мистического опыта визионера. Я, конечно, не призываю нас ходить по этим путям слишком далеко, потому что это очень опасно. Но мне казалось, что при разговоре о таких вещах есть один уровень культуры, а культура — это то, что вокруг культа (по этимологии слова), но чуть-чуть как бы не хватает.

А. К. СЕКАЦКИЙ: Пока я слушал выступления, пара соображений пришла в голову. Относительно близости Парижа и Петербурга — трудно сказать в чем, но она проявляется. Конечно же, удивительные городские персонажи есть и там, и там. Я почему-то вспомнил, как Д'Артаньян нанимал своего слугу Планше. Помните, на какое удивительное качество он (или, может, Портос) обратил внимание? Планше стоял на мосту через Сену и плевал в воду; проходя мимо, Д'Артаньян понял — вот этот человек мне подойдет. В Петербурге,

кажется, всегда руководствовались подобными же критериями. Во всяком случае, степень странности всегда была не меньшей.

Я отдаю себе отчет в том, что, конечно, мы можем иметь в виду самые разные ссылки на любые энергии, но все же в нашем распоряжении есть только порядок слов — и ничего другого, к сожалению. И в этом смысле философия, даже не метафизика, а первая философия, по Аристотелю, аутентично связана с *логотомией*, то есть с тем, что все трансперсональные состояния как-то именуется. И когда тот же Сократ беседует с Главконом, например, в диалоге «Государство», и с Фрасимахом, он их спрашивает: «что такое мужество?», а они, настоящие герои и полководцы, вынуждены использовать слова, хотя могли бы показать рукой — вот скольких врагов я победил. И величие античной цивилизации, конечно, состояло в том, что логотомия была признана. Будь ты хоть трижды Фрасимахом и признанным воином, но здесь ты должен выстроить порядок аргументов и ждать ответа на них. Никакого иного способа у тебя нет. И этим философия отличалась от классической «софии» и вообще от любой традиционной мудрости, где главное было — не перебивать. Поэтому, когда мы соглашаемся с Гамлетом, с его знаменитым утверждением «Слова, слова, слова», — да, всё слова, но нет ничего в мире важнее порядка слов. И метафизика вынуждена из этого исходить.